

- [Гребенщиков Борис , 'Аквариум'](#)

- 



# **Гребенщиков Борис , 'Аквариум' Роман, который так и не окончен**

Гребенщиков Борис

РОМАН, КОТОРЫЙ ТАКИ НЕ ОКОНЧЕН

ибо я люблю странное.

Может быть, вы поймете, о чем я говорю.

И я посвящаю страницы, лежащие перед вами  
людям, идущим впереди на шаг.

Глава первая

Вечерело. Солнце описывало последние круги над  
горой

Крукенберг, и в зарослях кричащего камыша уже  
пробовали

голоса молодые копношаги. Время от времени один  
из них,

должно быть, самый молодой, путал строчки  
распевки, и

тогда фоома начинал что-то сердито бормотать. А с  
реки

доносилось хлопанье и сопение пожилого  
краппенштрофеля,

который пытался перебраться на тот берег, и вот  
уже

полчаса неуклюже топтался перед водой, мутными  
зелеными

глазами бессмысленно смотря на мелькающих в  
глубине

рыбок.

-- Что-то кум Фостеклосс сегодня не торопится,

сказал старик Дер Иглуштоссер своему соседу и  
глубоко  
затянулся. Старик Ван Оксенбаш послушал эту  
тираду,  
глубокомысленно почесал себе за ухом, поудобнее  
устроился  
на мешке с дурью и, распечатав новую пачку колес,  
сказал,  
ни к кому особенно не обращаясь:  
-- Говорят, кум Фостеклосс сегодня что-то не  
торопится.  
Старик фон Фостеклосс почесал затекающую со сна  
ногу  
и поднялся с места. Старик Дер Иглуштоссер  
проводил  
взглядом его удаляющиеся валенки, кокетливо  
обшитые по  
верху брабантскими кружевами.  
-- что-то наш кум Фостеклосс стал больно тяжел на  
под'ем, - раздумчиво проговорил он, окутываясь  
после  
каждого слова клубами ароматного зеленого дыма.  
-- Под'ем, под'ем, под'ем, под'ем, - встрял в  
разговор мохнатый ревербер, высунувшись из-за  
кипы пустых  
мешков. Старик Ван Оксенбаш кинул в него  
колесом, и  
ревербер весело ускакал, зажав его в передних  
лапах.  
-- Так ить ему несладко, почитай, уже лет сорок он  
его через мост проводит, коли не больше, а погоды-  
то  
нынче развне стоят, хорошо, если как сивоння, все  
тихо, а  
вон позапрошлым летом как тухлый туман стоял  
неделю, так

он аж скафандр надевал, чтобы до моста дойти, или  
вон

давеча - Краппенштрофель заснул на бережку, а  
кум вокруг

ходит, шшупом его шпыняет да будит, будит, чтобы  
к тому

времени на погост дойти. Тоже волнение-то ему на  
долю

хватает, хошь если здраво рассудить, так ить  
порядок

такой вышел, что хошь ни хошь, а надо ему  
Краппенштрофеля

через мост перевести, а то иначе как же он через  
речку

перейдет, воды-то он боится... - так сказал старик  
ван

Оксенбаш и с'ел еще одно колесо.

Между тем тьма сгущалась. Над гнилой деревней  
поднялся огромный корявый палец и уставился в  
небо.

С погоста тарталак донесся чей-то сдавленный  
крик, и

два матерых прустня соскочили с гребня крыши и,  
тяжело

перебирая крыльями, полетели в ту сторону.  
Заскрипел

песок под ногами возвращающегося старика фон  
Фостеклосса.

За ним тянулись унылые трипплеры. Увидев  
сидящих

стариков, они присмирели и побрели обратно к реке.

-- А что, кум Фостеклосс, - сказал старик ван

Оксенбаш, - не осталось ли у тебя крутой азии?

Старик фон Фостеклосс раскашлялся, затем  
ворчливо

сказал:

-- У самого-то будто нет!

Однако он потянулся к мешку, но тут старик дер Иглуштоссер подергал его за рукав:

-- Что-то у тебя, кум Фостеклосс, трипплеры пошаливают!

А и вправду, один из трипплеров не только не ушел обратно в реку, а, напротив, приблизился к старикам и, вежливо стянув с головы огромную шляпу с перьями, представился:

-- Приветствую вас, мудрые старики! Имя мое Рип Ван Винкль!

Старик ван Оксенбаш недоуменно воззрился на пришельца и, внимательно осмотрев его с головы до ног, пришел к выводу, что вышеупомянутый вовсе не является трипплером, и даже выглядит, как подобает воспитанному молодому человеку. Действительно, незнакомец был одет в весьма солидный, хоть и малость заплатанный хитон, на ногах у него были добротные дорожные сапоги, кудри его были аккуратно уложены в косу, и имел он весьма приятное усатое и бородатое молодое лицо.

Молчание прервал старик Дер Иглуштоссер, который, видимо, не полностью доверившись своим глазам, на всякий случай осведомился:

-- Да уж не трипплер ли вы, о вьюнош?

-- Нисколько, о почтенный старец. Настолько нисколько, что я даже отдаленно не подозреваю, о каких именно трипплерах идет речь: о тех ли, что имеют обыкновение читать стихи загробными голосами в болотах севернее ущелья зеленой машины, или о тех, что сооружают в песках воздушного берега странное сооружение, которое мудрые люди именуют чузингрой. Если об этих, то я совсем не принадлежу к их числу.

Закончив тираду, молодой человек сел на песок и веселым глазом поочередно оглядел стариков. Они тем временем набили еще по трубочке и, не спуская

любопытных глаз с незнакомца, выпускали один за другим клубы дыма, да настолько ароматного, что даже гипербык в зарослях стебовины неподалеку шумно запыхтел и завертел головами. Старики явно не торопились нарушать молчание, и рип ван винкль сделал это за них:

-- Позвольте узнать, о почтеннейшие, уж не дурь ли вы курите? - спросил он, хитро поблескивая глазом, на что старик ван оксенбаш степенно отвечал:

-- Ее, вьюнош, ее.

А старик Дер Иглуштоссер немедленно добавил:

-- Крутую азию! - и подкрутил ус, давая понять, видимо, что курить крутую азию, сидя на собственном мешке с дурью в вечерний час на околице села Труппендорф является привилегией таких почтенных людей, как он и два его давнишних приятеля. Но незнакомца не обескуражил тон, которым была произнесена эта сентенция.

-- В некоторых местах, в которых я бывал на протяжении моего странствия, сказали бы, что вы, о почтенные старики, торчите по-гнилому, - сказал он и, не давая старикам обидеться на эти слова, быстро продолжал: - Я могу предложить вам кое-что, чего, может быть, вы еще не пробовали. Когда я проходил провинцию Бхандай в Восточном Бхуропатре, там ихний далай-лама подарил мне на память мешочек, на котором вышиты священные слова четвертого гимна раджи ксенпутра. Вот он, этот мешочек, с этими словами он ловко достал из потрепанного мешка маленький кисет, - и в нем - индийская конопля.

Эта неслыханная речь так поразила стариков, что у них даже погасли трубки, а к тому времени, когда старик Дер Иглуштоссер открыл было рот, чтобы сказать что-то, его трубка уже была туго набита той самой коноплей, о которой говорил незнакомец, более того, конопля была из того самого мешочка, о котором

шла речь. Что окончательно доканало почтенного старца, так это то, что трубка уже дымилась. Ничего не стал он говорить, а только закрыл рот и хорошенечко затаился.

Вновь воцарилось молчание, которое Рип Ван Винкль сразу не торопился прервать, а прервал его старик фон Фостеклосс, который в крайнем изумлении возвел глаза к небу, поводит в воздухе руками и блаженно заявил:

-- Кум Иглуштоссер, Кум Оксенбаш, а я ведь торчу!

Но старики ничего не ответили ему, а лишь продолжали дымить своими длинными трубками, только старик Ван Оксенбаш поворачивал стариком фон Фостеклоссом на все сто процентов, а Рип Ван Винкль достал из своего мешка обширную записную книжку и, повернувшись к реке, задумчиво созерцал пейзаж. Солнце наконец зашло, и из болота на том берегу стал подниматься фиолетовый туман, в котором время от времени что-то сверкало. Из-за поворота шоссе выползла какая-то машина, через метров пятьдесят она остановилась, и в лесу за дорогой немедленно появились светящиеся силуэты, то ли замедленно бегущие, то ли танцующие. Машина вздрогнула, выпустила клуб ярко-зеленого дыма и тронулась с места; проехав немного, она остановилась, и все началось сначала. В машине явно никого не было. Это зрелище, судя по всему, немало позабавило юношу: он улыбнулся и что-то записал в свою книжку, потом захлопнул ее и перевел взгляд обратно на дорогу. Но долго наблюдать за этим странным методом передвижения ему не пришлось - около самого моста из придорожного кустарника выскочил суч и, глубоко стеноя, перебежал дорогу перед самым носом машины. Она задрожала, окуталась клубами дыма и, сорвавшись с места, переехала мост и на полной скорости исчезла за поворотом.

Все еще улыбаясь, рип ван винкль перевел взгляд на долину, но в это время со стороны кайфоломни донесся звон колокола, протяжно закричали конвесторы, и на горе вспыхнули синие огни, возвещавшие начало вечернего симпозиума. Шум вывел торчащих стариков из состояния оцепенения, и старик Дер Иглуштоссер, тщательно откашлявшись, заметил:

-- Да, кумовья, такого я не пробовал со времени большого медицинского каравана.

Старик фон Фостеклосс, не открывая глаз, пробормотал:

-- Обои, обои, смотрите, какие большие рулоны... Катятся, катятся... - и опять погрузился в мутную воду прихода, где на его старую голову падали лиловые булыжники, превращаясь в пачки невероятно больших колес, и бритый корзинин говорил в телефонную трубку: "приход номер два, приход номер два", и никак не мог спихнуть с себя маленьких игрушечных поросят, но старик Дер Иглуштоссер не стал выводить его из этого блаженного состояния, ибо много видел он всяких приходов на своем веку и хорошо знал, что приход - это не дверь на дереве, в которую как войдешь, так и выйдешь. Вместо этого он зажмурился, тщательно протер глаза, затем открыл их, сначала левый, потом правый, вынул из кармана монокль слоновой кости и половинку фирменного поляроида и вставил их на должные места своего морщинистого лица. Проделав вышеописанные махинации, он воззрился на молодого ван винкля, и в глазах его, при этом хорошо видные через упомянутые зрительные приборы, горел огонек интереса:

-- Откуда же ты пришел, о неслабый вьюнош? - спросил он, удовлетворив, наконец, свое зрительное любопытство и придя к выводу, что, несмотря на свой чрезмерно молодой возраст, незнакомец ему положительно нравится.



-- Мой путь долог, о почтенный старец, - ответил ему Рип Ван Винкль, и облачко задумчивости промелькнуло на его челе, но оно исчезло так же мгновенно, как и появилось, и он продолжал: - сейчас моя дорога лежит из каменных столбов ярпацара, где я провел три месяца, изучая древние рукописи секты за.

-- Зачем же они были нужны тебе? - снова спросил старик Дер Иглуштоссер, немало пораженный ученостью молодого собеседника.

-- Мудрецы секты за искали дорогу в дхарму, отвечивал Рип Ван Винкль и улыбнулся, ожидая новых вопросов, но тут доселе молчавший старик Ван Оксенбаш встрепенулся и проговорил:

-- Дорога в дхарму...

Старик Дер Иглуштоссер удивленно взглянул в его сторону, ибо не ожидал от своего чудаковатого товарища каких бы то ни было реплик, но тот не заметил этого, он ничего не мог заметить сейчас, ибо всколыхнулось что-то в его глубинах, и весь он замер, прислушиваясь к голосам, которые что-то шептали, повторяли в колодцах его воспоминаний. Словно в какой-то полудремоте он увидал себя, молодого и полного сил в залитый солнцем год говорящей звезды, веселые дни и ночи, походы в черный лес, смех ивянок среди изумрудных ветвей дерева синх и запыленного седого мудреца в фиолетовом плаще с пурпурным пентаэдром на четырех серебряных цепях. Он говорил:

-- Дорога в дхарму тяжела и далека, лишь вам она под силу, вам, у которых глаза не закованы в пелену рассудка, а сердце не заковано в цепи здравого смысла.

И, забывшись, старик Ван Оксенбаш повторял снова слова, отозвавшиеся эхом в его душе в тот далекий солнечный год:

-- Легко найти тропинку, ведущую к этой дороге...

И чей-то незнакомый голос продолжал за него:

-- Стоит лишь обратить глаза к солнцу в небе души твоей.

Старик Ван Оксенбаш открыл глаза. На землю неслышно надвигалась ночь, и, сидя на песке перед ним, улыбался юноша, чей взгляд был подобен дуновению ветра.

Обрывок бумаги  
нить горизонта сожжена зарей,  
и снова нам рассвет отдал дороги.  
Мы разорвали кандалы времен,  
чтоб говорить с незнающим имен,  
переступая новые пороги,  
и только песней путь не озарен...

Глава вторая

Перейдя мост, он остановился и, прислонившись к замшелому дереву, огромному столбу, закурил, потом медленно поднял глаза и впервые увидел лес так близко. Что ж, это зрелище заслуживало всех прочувствованных эпитетов, которыми оно награждалось во всех концах света, причем обычно теми людьми, которые в глаза не видели местности вокруг гнилой деревни, а про черный лес слышали только в придорожном кабаке из уст человека, который бывал там не больше, чем они сами. И, млея от ужасов и непонимания, они говорили об этом страшном лесе, лесе-беззаконнике, лесе-убийце, описывая ужасы и безобразия, которые он являет заблудившемуся путнику, которыми он сводит его с ума. Вереща от возбуждения, брызгая слюной, махая руками, они заклинали не искать туда путей, держаться в стороне от всего, что может быть лесом, и говорили, что, побывав там, они навсегда зареклись бродить по подобным местам и навсегда стерли из памяти дорогу в лес.

Он стоял, огромный и могучий, чистый от всей грязи слов, которая налипла на него, как будто он впервые

позволил смотреть на себя человеку. Черные тени гигантских деревьев сплетались с маленьким кустарником, в лунном свете равномерно покачивалось кружево папоротников, и во мрачной глубине холодно мерцали синие огоньки. Уинки, сидел не шевелясь, чтобы не нарушить эту беззвучную песню, которая захватила его, захлестнула и понесла в странном и неподвижном танце. Кольца дыма свивались и развивались, словно образуя на мгновения надписи на неведомых языках, рисуя что-то, о чем-то говоря. Покурив, он встал, легко сбежал с откоса дороги и вошел в лес.

#### Фрагмент 2

Уинки поудобнее устроился на мягком мху, привалился спиной к шершавой коре дерева и облегченно вздохнул. Тянуться за сумкой ему было лень, и он начал прикидывать, через какое время он сможет без всякого ущерба для своего блаженства достать оттуда сигарету. Не успев еще окончить эти приятные размышления и повиновавшись, наконец, своему туманному чутью, он поднял-таки голову и посмотрел вверх. Не то, чтобы он особо удивился, нет, он скорее воспринял все как должное. Во всяком случае, зрелище, представшее его глазам, его явно не запугало. Откровенно говоря, он даже словил на нем определенный кайф, ибо рано или поздно ожидал чего-либо подобного, а к таким вариациям на тему реальности он привык с детства, однако это помогло ему отвлечься от блаженного созерцания своих ботинок. Рискуя вывихнуть себе какую-нибудь из конечностей, он потянулся к сумке, закурил, и только тогда перевел взгляд на висящего слева от него человека.

Прикид его находился именно в той стадии поношенности, которая позволяла заподозрить в нем коренного жителя леса. А был тот повешенный человек

лет этак сорока, с окладистой черной бородой, и глаза его, спокойные и доброжелательные, были скошены на винкля, по его виду никак нельзя было сказать, что он испытывает какое-либо неудобство от своего положения, и только узел грубой веревки, торчавшей за его затылком, и малость неестественная посадка головы наводили на мысль, что этот человек, мягко говоря, мертв.

Уинки неторопливо курил, не сводя глаз с повешенного, тот висел себе и смотрел на винкля. Где-то вдалеке послышался одинокий звук скрипки: неведомый скрипач методично играл гаммы, сначала плавные, потом все более и более отрывистые, затем замолчал и начал играть какую-то неопределенную мелодию, судя по которой он был человеком, не лишенным некоторых странностей. Звук скрипки резко оборвался, и Уинки задумчиво выпустил струю сизого дыма.

-- А что это он перестал играть? - спросил он.

Висельник укоризненно поворачивал глазами.

-- Так ведь это эмуукский скрипач, - сказал он приятным хрипловатым тенорком, словно бы заржавевшим от долгого неупотребления.

Уинки не стал интересоваться дальнейшими особенностями стиля лесных музыкантов, а, помолчав немного, спросил:

-- Ну, как висится?

-- Да в общем-то хорошо, - охотно ответил висящий, вишу, все видно, все слышно, спокойно, думать никто не мешает. Только вот пить иногда охота, так ведь и дождь временами идет, глядишь, и напьешься вволю.

Уинки вытащил из сумки еще одну сигарету, потом спохватился и спросил:

-- Курить хочешь?

-- Спасибо, только курить мне как-то без кайфа, подумав, сказал висящий с оттенком легкой грусти в

голосе и добавил:

-- Да меня, откровенно говоря, и нет вовсе...

Дым синими струйками вился в неподвижном пушистом

воздухе. Вдали за деревьями мерцало зеленое пламя.

Фрагмент 5

Подходя к поляне, он заметил, что черные, странных очертаний деревья почти совсем скрыли от него происходящее, и даже о том, что перед ним поляна, он догадался только по всплескам голубого сияния и звучанию инструментов. Звучали они превосходно: торжественные, полные скрытой мощи, органные аккорды наплывали на мелодию скрипок, нежно пели флейты, и только время от времени странным диссонансом ухал паровой молот. Уинки так и не смог до конца уяснить себе, чем же хорош этот Бискайю Фрумпельх - непревзойденный мастер игры на хаммондском паровом молоте, хотя именно о нем шептали афиши, развешанные на боках неповоротливых сырвуйствереи и тщательно вписанные на каждом информационном дереве:

Электрических симфоний эмуукский регальный оркестр

Абиуцеала

исполняет третью симфонию ля мажор

Теофилиуса Сюртескьера

при участии неповторимого Бискайю Фрумпельха

в х о д о б я з а т е л е н

Уинки не решился не выполнить это странное предупреждение по поводу входа, ибо теперь, подойдя поближе к поляне, увидел, что, кроме оркестра там никого не было. Но сам оркестр представлял из себя настолько необычное зрелище, что Уинки сразу забыл о видимом отсутствии слушателей, предоставив глазам своим всласть вкусить прелесть созерцания. Оркестр,

освещенный приятным голубым светом, был погружен в пучину исполнения. Смычки скрипачей слаженно пилили воздух, время от времени касаясь струн, что производило потрясающий звуковой эффект, контрабасист - краснощекий толстяк в декольтированном сзади розовом фраке - с такой энергией щипал струны своего огромного контрабаса, что, казалось, готов был выщипать их до основания.

То, что его инструмент пытался время от времени превратиться в молодое деревце, о чем неоспоримо свидетельствовали зеленые листочки, прорезавшиеся на грифе, когда контрабас замолкал, видимо, его ничуть не смущало.

Перед каждым музыкантом возвышалось странное сооружение, похожее на бред умирающего паука-сюрреалиста. Вглядевшись, Уинки понял, что эти конструкции выполняют в основном роль подставки для нот, страницы которых переворачивали порхавшие в воздухе огромные яркие бабочки. Наверху у каждой такой подставки красовалась подзорная труба; проследив, куда были направлены эти не совсем обычные для симфонического оркестра приспособления, Винкль увидел главную фигуру вечера: на замшевом пеньке, чуть возвышаясь, перед оркестром находился маленький человечек, в котором по буйству движений можно было безошибочно угадать дирижера. Он метался по своему пню, размахивая руками, подпрыгивая и хватаясь за голову, он дирижировал всем, чем мог: руками, ногами, головой и даже, казалось, фалдами сюртука. Уинки попытался отыскать глазами паровой молот, столь разрекламированный в афишах, но огромный ствол дерева заслонил от него как раз этот угол поляны. Подвинувшись вправо, он наступил на чью-то ногу.

-- Простите, - рассеянно пробормотал он, пытаясь все-таки разглядеть виртуоза - молотобойца через

густую листву.

-- Что вы, что вы, - возбужденно прошептал этот кто-то из тьмы и безо всякой паузы продолжал: - а что, вам нравится?

Винкль поморщился, ибо всегда не любил слушать и разговаривать одновременно, однако понимал, что молчанием не отделаться и ответил:

-- Да, это весьма круто!

И продолжал наблюдать за знаменитым паровым молотистом, который в это время пришел в совершенный исполнительский экстаз и, судя по всему, пытался засунуть голову между молотом и наковальней. Эта короткая реплика вызвала у невидимого собеседника целый шквал восторженного сопения и нечленораздельных комментариёв, которые под конец сложились в более или менее понятное заявление о том, что Винкль - очень крутой и неслабый мэн, и что у него, у Винкля, то бишь, очень крутой и неслабый музыкальный вкус и он торчит от одной из самых крутых и неслабых команд мира. Винкль поднял голову, чтобы посмотреть на разговорчивого почитателя эмуукского регального оркестра, но в темноте разглядев только контуры собеседника, пробормотал: "ну да" и снова углубился в созерцание музыкантов. Тем временем концерт, судя по всему, подходил к концу, звуковая буря достигла своего апогея, рабочие конечности дирижера двигались с такой быстротой, что их не было видно, несравненный Бискайо Фрумпельх корчился в судорогах у своего молота, из которого исходили звуки, похожие на предсмертный рев сумасшедшего слона, наконец, дирижер подпрыгнул последний раз, молот испустил струю красного пара, и оркестр замолк. Свет стал относительно ярче и, несмотря на отсутствие слушателей, раздались громкие аплодисменты. Дирижер раскланялся с невидимой публикой, соскочил с пенька. Контрабасист вытер полый

своего фрака пот со лба и погладил контрабас, который аж изогнулся от удовольствия и, немедленно выбросив массу зеленых побегов, без всякой помехи стал превращаться в дерево. Меж музыкантов забежали крохотные белые человечки, разнося прохладительные напитки; концерт был окончен. Чья-то рука дернула Уинки за рукав, обернувшись, он увидел своего разговорчивого соседа. Им оказался молодой человек лет двадцати со включенной шевелюрой, в майке, блестящей всеми цветами радуги, в немыслимо модных штанах, которые в силу своей ширины делали его похожим на пальму в кадке. Но лицо его была написана восторженность, граничащая с идиотизмом.

-- Потрясающе! Немыслимо! - сказал он. - правда?

Слово "сказал" мало подходит для описания его манеры говорить. Скорей сюда бы подошло слово "пробубнил". Уинки хотел как-то ответить, но незнакомец продолжал захлебываться словами. Довольно скоро Уинки уяснил, что этот веселый бормотун словил кайф от этого самого крутого джема в его жизни, что он лежит в ломах и крючках и если Уинки доверится незнакомцу в модных штанах, тот немедленно отведет его на неслабую торчальню, где можно

знатно обломиться и пришизеть.

Что ж, долго думать тут было не о чем - лес сам прислал к нему провожатого.

-- Это прекрасно, - ответил Уинки. - я иду с тобой.

Потом они уселись под огромным деревом, и Снупи попытался-таки что-то об'яснить. Уинки тщательно внимал невнятным речам своего спутника, но больше половины произносимого было настолько странным и запутанным, что впору сойти с ума. Почему, например, они должны были сидеть под деревом в течение, как минимум часа, он так и не понял, хотя до него дошло, что это связано с цветом мха, стаей мисстрей,



гнездившихся на этом дереве, и чем-то вообще непонятным по имени вистроноциум. Поэтому он перестал слушать и начал озираться по сторонам. В верхушках деревьев, мерцающих зеленоватым светом, похожих поэтому на водоросли со дна гигантского аквариума, клубился туман. Может быть, это был не туман, ибо из него то там, то сям складывались очертания странных лиц, взирающих сверху на происходящее. Одно лицо уставилось даже на Уинки и весело ему подмигнуло, после чего сразу исчезло. Внизу, между деревьями, появлялись и исчезали силуэты более человекоподобных обитателей леса, и даже проехала какая-то машина, покрытая, впрочем, мхом и трухлявыми грибами. Сидящие в ней люди оживленно переговаривались. Насколько Винкль понял, это оживление было вызвано концертом, на котором, как это явствовало из речей Снупи, присутствовали не только все крутые торчальники и неслабые шизовики, но также и остальные менее ломовые мэны и мочалки, то есть практически все жители леса, имеющие глаза и уши.

Снупи вдруг встал, замахал руками и прокричал что-то совсем нечленораздельное. Адресовано это было, видимо, двум уже не очень молодым существам мужского пола, появившимся из-за вблизи стоящих деревьев. Серые волосы одного из них спускались до пояса, однако мирно соседствовали с солидным лысым лбом. Одежда его была обвешана, обшита и обита разнообразными финтифлюшками, колокольчиками и деталями музыкальных инструментов, что говорило о несомненной принадлежности его к классу поп-музыкантов. В руках он держал чашечку кофе, из которой постоянно прихлебывал.

Другой был одет более традиционно, но это компенсировалось огромной черной бородой и великолепными усами, а также прочими волосяными

украшениями, из-под которых едва проглядывали нос и глаза. К поясу его был привязан небольшой гонг, на котором он безостановочно отстукивал какие-то ритмы.

Не прерывая своей горячей беседы, они помахали винклю и его компаньону и скрылись за деревьями.

-- Это одни из самых ломовых мэнов в лесу, восторжено произнес Снупи, - они уже около пятидесяти лет собирают аппаратуру для своей неслабой команды и, говорят, скоро купят все до конца и начнут играть. Это будет невиданная крутота!

В этот момент седой снова вынырнул из чащи и быстрым шагом направился к ним. Подойдя ближе, он со странным выражением лица посмотрел на Снупи и, поколебавшись немного, проговорил просительным тоном:

-- Послушай, Снупи! Ты извини, у тебя не найдется этак пятнадцати юксов на месяц, а? А то у нас на пищалке диффузор полетел. И потом, аппарат заводится - мы бы с первой игры отдали...

Снупи лихорадочно пошарил по карманам, но поиск этот не дал ничего. Тогда он протянул просителю золоченую пуговицу.

-- Вот все. Мы тут на днях купили вкладку к приходам, так что сами сидим без капусты. Приходится слушать. Это крутота и умат! А вы-то скоро играть будете?

Седой музыкант обреченно махнул рукой:

-- Эх, аппарат - лажа: фонит, да вот тут на днях фуза с крюком обещали дешево. С полочки купим. Тогда и играть будем. Вот диффузор починим и будем.

Он посмотрел на пуговицу и, подумав, взял.

-- Спасибо, Снупи. Я ее на колонку приколочу. Пусть висит для пущего облома. А ведь это круто будет пуговица на колонке. Такого еще ни у кого не было. Да, мы их всех этим забьем. Они у нас еще поторчат. Ну, спасибо, Спасибо.

Воодушевленный, он убежал. Снупи торжественно проводил его взглядом, полным преклонения перед музыкантом и гордости за свою пуговицу. А Винкль осторожно осведомился:

-- А как тут у вас с музыкой?

Тут же ему пришлось пожалеть о своем неосмотрительном вопросе. Снупи вытаращил глаза, судорожно задергался и стал выпускать ошеломленное шипение, производя впечатление человека, которого укусил за ногу собственный книжный шкаф.

-- Снупи, Снупи, я пошутил, - попытался было исправить положение Винкль, но все было бесполезно - его модный провожатый глубоко впал в ту малоисследованную область, которую часть называют ломами и крюками. В это темное место на глобусе человеческой психики не заходил ни один первооткрыватель, ни один естествоиспытатель не смог составить его карту или перейти вброд с тем, чтобы узнать его глубину. Лишь заблудившиеся путники время от времени возвещают отчаянными криками о том, что есть еще ломы на свете. Когда из темного леса доносится вопль попавшего в их плен, заботливые мамы, склонившиеся над колыбельками, успокаивают младенцев, говоря им:

-- Торчи не так круто, детка, а то придут крюки и возьмут тебя!

Тогда ребенок перестает плакать, пытается представить себе эти загадочные крюки, и мирно засыпает за этим бессмысленным занятием. Маловеры и еретики говорят, что ломы - вовсе не река, не чащоба, а всего-навсего лужа, в которую успешно падают обдолбанные путешественники по жизни. Пусть их! У каждого века были свои убедительные доводы, предназначенные для маловеров. Думаю, этих доводов хватает и теперь, а достойные люди, не слушая болтовни маловеров, лежат себе в лужах, простите,

бродят по возвышенно таинственной чащобе, испуская веселые крики; последуем же за ними, проследим их перепутанные пути.

Итак, вернемся к нашим героям. Прошло не так много времени, и Снупи вновь стал способен воспринимать происходящее. И только было он пустился в членораздельные раз'яснения, только было он начал заваливать Винкля плохо понятной информацией о музыкальной стороне леса, как что-то засвиристело в листве над ними, и на мох упал медный начищенный самовар. Еще не успев удивиться этому, Уинки почувствовал довольно ощутимый удар по голове. С плеча его скатилось велосипедное колесо, в самом центре которого находился внимательно смотрящий на Винкля глаз. Снупи неожиданно быстро среагировал и, вскричав что-то, потащил Винкля из опасного места. Следом продолжали катиться разнообразные и странные предметы: швейная машинка на семи колесах с надписью "ищу зонтик", светящаяся буква "с", которую с натугой тащили два привязанных к ней карлика, пронзительно свистящие черепашки, прыгающие кубики и прочая многоногая, шумящая, расползающаяся во все стороны нечисть.

-- Господи, ломы-то какие, - сказал Снупи, утащив Уинки достаточно далеко от извергающегося дерева. сигареты у меня вот чуть было не рымпельцировались.

Слегка ошалевший Уинки ничего не стал возражать на это и продолжал следовать за Снупи, боязливо поглядывая на близлежащие деревья.

-- Да, - вдруг спохватился тот, - так ты знаешь, куда мы идем?

Когда Уинки выразил свою неосведомленность об истинном пункте их назначения, Снупи с жалостью посмотрел на него и, остановившись, торжественно заявил:



прислушался. Вроде все было тихо. Птицы и лягушки снова начали квакать и петь. Гуляющие возобновили свою прогулку, и упавшее дерево вернулось на свое место. Только из большой стеклянной кротообразной банки высунулась усатая голова и спросила:

-- Что за дела?

-- Этот человек не знает мистера крюка и психоделическую водонапорную башню! - объяснил пришедший в себя Снупи с блаженной улыбкой на лице. - теперь я веду его в наш клуб.

-- Крутота! - весело откликнулась голова и снова скрылась в банке.

Снупи схватил Уинки за руку, поднял его на ноги, бормоча "пойдем, пойдем", и поволок его вперед.

Глава четвертая

Первое, что бросилось ему в глаза - огромный яркий плакат на противоположной стене, гласящий в три цвета:

кузнечики ошизели.

Сия странная надпись сопровождалась изображением женской ноги, из которой выезжал мотоцикл. Чуть ниже, под гнилым бревном, на котором люминесцентной краской было выведено: "топ всего попа" красовалась грифельная доска с этим топом:

кам он, мистер х

сюрим психоделик лажа

прикид, прикид

ништяки

чаво ты смотришь?

Великая чугунная наковальня

бэби, я обторчался в черняк

суперфак

ан-а-кон-да. По-видло

тне крестьяне

Придя в себя от накатившей на него волны гама и дыма, Уинки попытался врубиться в обстановку. Крутая

торчальня, она же фан-клуб мистера крюка и психоделической водонапорной башни, представлялась огромной и прокуренной до основания. Там и сям висели плакаты, призывающие заниматься разнообразными странными делами и сообщавшие о малопредставительных вещах. Под ними сидели, курили, имели и молчали волосатые люди неоконформистского толка, каковой выразался преимущественно в надевании на себя вещей, для этого явно не приспособленных, и в отказе от буржуазной привычки хотя бы изредка мыться, а также в убеждении, что табачный дым лучше воздуха, а алкогольные напитки лучше воды.

Пока Уинки так озирался кругом, Снупи, пробормотав что-то, исчез в клубах табачного дыма. Неожиданно из беспорядочного скопления тел вылетел человек, одетый в весьма живописную рыболовную сеть, после чего скопление разразилось ревом то ли восхищения, то ли возмущения. Рыболов подскочил к Уинки и, протянув вперед руку, спросил:

-- Что это за дерево, о молодой леопард, с которого я ласково возвращаюсь?

-- Советую спросить у Бретона, - скромно сказал Уинки, вспомнив детство.

-- О, Бретон, - простонал человек, все еще протягивая руку и, продолжая стонать, выскочил на улицу, придерживая волочащийся за ним шлейф. Сразу же после этого к Уинки подошел очень мрачный, очень худой юноша с ведром на голове и предложил продать ему набор игл, подходящих для стереомашины и в любом количестве голов. Уинки вежливо отказался, сославшись на отсутствие у него рук, после чего юноша, еще более утвердившись этим отказом в своей мизантропии, вернулся на свое место под красиво висящим плакатом:

Самоубийство - это множество оглушающих звонков.

Тем временем к Уинки приблизился устойчиво-бухой человек лет сорока, по бороде которого можно было примерно определить, что он ел за последнюю неделю.

-- Вы, молодые, все хипари и моднари, - прохрипел он, одобрительно глядя в несколько сторон сразу. - это хорошо! А я вот - старик. Старый битник. Таких, как я, больше нету. Прально. Ты меня уважаешь, чувак? доверительно спросил он, совладав, наконец, со своими глазами и заставив их уставиться на Уинки. - прально. похлопав Уинки по плечу, он направился к выходу; во все горло читая малопонятные, но трудновоспринимаемые стихи.

Уинки улыбнулся. Давно ему не приходилось бывать в такой обстановке. Фан-клуб мистического леса навеял на него воспоминания детства. "интересно, как они похожи друг на друга, - подумал он, - и этот престарелый битник, и мрачный продавец торчева, и веселые обдолбанные поклонники сюрреализма. Я их видел раньше. Давно. Хотел бы я знать, где тут молодой я?"

И под покровом дыма он двинулся вперед, рассматривая обитателей избы-торчальни.

Миновав трех полуголых молодых людей, сидящих во вместительной бочке и спорящих о преимуществах старого ботинка перед настольной лампой (на спине у одного из них виднелась полустертая надпись: "жди меня, и я умру"), очень грязного курильщика трубки, который был погружен в рассматривание своего еще более грязного колена и двух голых девушек в зеленых валенках, увлеченных чтением радхакришнана. Уинки присел около существа в белой хламиде и облаке длинных светлых волос. В руках его находился причудливый на вид музыкальный инструмент с неопределенным количеством струн, из которого юноша (это выяснилось, когда он поднял голову) извлекал звуки индийской раги. В этом человеке было что-то,



выделявшее его из остальных, может быть, увлеченность или что-то еще. Во всяком случае, Уинки понял, что между ними возникла дружба. Почему? Кто может объяснить, как рождается дружба? Он с сожалением оторвался от звуков и двинулся дальше.

Миновав парочку, занятую объединением початков кукурузы, Винкль увидел несколько элегантно одетых в разодранные фраки молодых людей, деловито рассматривающих диски. Заглянув через плечо одного из них, можно было полюбоваться на живописно оформленную обложку с надписью: "Доктор крюк и психоделическая водонапорная башня. Восемнадцать приходов квартирьера сломанной березы. Включает хит-сингл узник желтой лужи". Однако при приближении Винкля джентльмены во фраках прервали свой несомненно высокоинтеллектуальный разговор о качестве вкладок, конвертов, песка, дерибасов, массы, пакетов, а также о прайсе, поспешно спрятав диски. Пожав плечами, Уинки двинулся дальше. Миновав ряд неподвижно лежащих тел, павших жертвами крутого прихода, он собрался было подойти к волосатого вида художнику, занимающемуся своим черным делом неподалеку, как в фигуре одного из лежащих что-то привлекло его внимание. Уинки всмотрелся и, не доверяя своим глазам, сделал несколько шагов, потом, все еще не веря, подбежал к нему и перевернул на спину.

Проглотил комок в горле:

-- Господи, Дэви!

Дэвид невидящими глазами смотрел в потолок. Уинки, беспомощно оглянувшись вокруг, взвалил на себя тело своего самого близкого друга и понес его в выходу.

Глава пятая

Длинный человек с чуть надменным лицом и маленькой бородкой сел к пианино и стал настраивать

гитару, которая, как маленький красный зверь, притаилась у него на коленях. На возвышении, служащем чем-то вроде сцены, появился меланхоличный ударник с сигаретой в зубах. Он опустился на одно колено и начал поправлять басовый барабан. Затем, обойдя установку, склонился над гущей барабанов, и зал огласился привычным заклинанием:

-- Раз, два... Раз, два... Раз, два...

Дэвид ухмыльнулся. Легко поднявшись, человек с красной гитарой тоже подошел к своему микрофону, и глубокий низкий голос его раздался из черных потертых тумб, стоящих по краям сцены.

Появился пианист в длинной широкой вельветовой куртке, похожий на какого-то бога, одевшегося модным художником. Он тронул клавиши, развернулся и воззрился в зал. Оттуда вылез кто-то с болезненным лицом, взял гитару и воткнул штеккер. Мальчик со скрипкой откинул папиросу и приложил скрипку к плечу.

Музыка вошла неожиданно, и никто не смог уловить того мгновения, когда люди на сцене перестали быть людьми из плоти и крови и воплотились в звуки. Кровь прихлынула к вискам Дэвида, чудо воплощения охватило его. Вздогнув на ветру, растаял мир, и вспыхнуло, как сухая трава, сердце. Скрипач, еще совсем юный, ласкал скрипку длинными нежными пальцами. Она пела, как поют деревья, готовые отдать себя ночи, как поют июльские поля на восходе. Он смотрел куда-то мимо всего со строгим застывшим лицом. А потом музыка взрывалась, и скрипка, как раненая птица, срывалась в штопор, обезумевшей гоночной машиной носилась по кругу, распиливая реальность, вылетая на крутых виражах аж из пространства и времени, опровергая законы гармонии и разрезая небо надвое.

Битком набитый зал постепенно накалялся. Обычные разговоры словно обрезало ножом. Впрочем, их бы не было и слышно, и лица, обращенные к сцене, как к богу, начинали расплавляться в этом шторме звука. Вразнобой стучащие сердца обрели единое биение, сложившееся с пульсом песни. Маленький косматый человек рядом с Дэвидом, только что распевавший что-то во всю глотку, куривший четыре сигареты сразу, и вообще веселившийся вовсю, как разбуженный, замолк и, судорожно раскрыв глаза, пил музыку всем своим существом, а скрипка писала на его лице отчаяние.

Становилось все горячее. Пианист, забыв обо всем, бросился в море клавиш, и руки его вспыхивали, как зарницы, разбиваясь о ноты и рождая гармонию. Ударник уже не существовал как человек, а были только палочки, бьющиеся в пальцах о барабан, как о мир, изредка из-под развевающихся волос прорезал воздух невидящий предсмертный оскал. Песня рвала на части, чтобы выпустить, наконец, свет из людских седрец, и на самой высшей точке, когда дальше идти уже было некуда, человек с гитарой засмеялся в микрофон. Так мог бы смеяться дьявол. И вдруг он рванулся вверх и вперед, а гитара кричащая птица - полетела впереди, как душа, вырванная из тела.

Уинки подошел к Дэвиду, на ходу вытаскивая сигарету из помятой пачки.

-- Ну как, круто? - спросил Дэвид, улыбаясь.

-- Да, - гордо, как будто музыка и весь сегодняшний вечер принадлежали ему, сказал Уинки, прикуривая от светлячка. - я просто в обломе.

А вечер на самом деле принадлежал Дэвиду. Казалось, весь мир принадлежит ему, не знающему об этом и не желающему знать. Зачем? У него была джой. Уинки отыскал ее глазами. Она продиралась сквозь разноцветную толпу, раздавая приветственные улыбки.

-- Уинк, сегодня будет что-нибудь? - наконец дойдя до них и, не дожидаясь ответа, прижалась к плечу Дэвида, смотря на него снизу вверх, так, что Уинки впервые в жизни показалось, что он живет на свете зря. Что значило его существование перед этим взглядом, в котором не было места никому, кроме их любви. Дэвид ответил на взгляд, и мир на мгновение покачнулся в зеркалах его зрачков, уступив ей место.

Уинки глубоко затаился и посмотрел в зал невидящим взглядом. Да, он был немножко влюблен в Джой, но не сознался бы в этом даже самому себе, и еще гордился тем, что именно Дэвиду выпало счастье любить самую прекрасную девушку на земле и быть любимым так, что все стихи всех поэтов вселенной казались ничего не стоящим анекдотом.

"Вот они, люди, ради которых сотворен мир, - сказал он себе. - вот оно, сердце жизни", - и ощутил на секунду, убрав всепоглащающую волю, что любят не его, единственного и прекрасного в своей единственности, что никогда и никто так не полюбит его, и кинулся в прямой звук, где скрипка билась о камни ритма, как белая чайка с перебитым крылом. Одна, как он.

Джой посмотрела ему вслед с чуть виноватой улыбкой и перевела взгляд на Дэвида. Как всегда, ее сердце взорвалось бесконечным счастьем. "Вот он. Мой. Всегда." и прижалась к нему всем телом. "Бедняжка", - имея ввиду Уинки, но уже забыв о нем.

"Скоро ночь, - сказали их тела, безуспешно пытаюсь скрыть великую радость. - впереди ночь. Словно первая, словно последняя, единственная, одна из многих, великая". "Наша", - подумал Дэвид. "Я буду тебя любить, как никогда не любил", - молча сказал он. "Вся жизнь впереди", подумала она. - "Моя у тебя и твоя у меня". И мысли ее смешались в одной бурной сверкающей чистой реке счастья. Губы неслышно

шевельнулись в одной-единственной молитве всех влюбленных: "я люблю тебя!"

А Уинки, давно забывший о своем космическом одиночестве и непоправимом горе, отдавал свое тело ритму, и сердце его пело великой радостью жизни. Он не заметил, как они вышли.

Лес был охвачен пожаром, освещенные стволы уходили вверх, как органная месса. Чуть слышно бормотал ветер. Уинки, опустив голову на колени, сидел около тела Дэвида и ждал.

-- А ее нет больше... Осенью... Ты знаешь, она всегда любила пробовать все сама, ну, и попробовала. Отвыкнуть-то трудно. Больше, больше... А потом - люминал. Все в лучших традициях. Да... Пытались... Двое суток в больнице. Думали, откачали, а потом... Потом вдруг все... Да... Буквально на минуту, перед самым концом... Ничего, плакала. Сказала, что любит... Ушел, конечно. Что было делать? Понимаешь, я не мог там оставаться... Не помню, где... Все равно. Не могу быть в мире - здесь все такое, как при ней. А ее - нет... Да нет, люминал меня не привлекает. Все одно и то же, а толку-то? Знаешь, Винкль, я все еще люблю ее. Не могу перестать. А по ту сторону любить уже нельзя. А я не могу не любить. Поэтому я тут посередине... Да нет, это просто на словах. Знаешь, это получается как круг - одно за другим. И не выйти. Прости, мне трудно говорить об этом, я лучше обратно пойду. Там не надо говорить, там ничего не надо. Там ты - чистый цвет, и море таких же чистых цветов. И ее там нет. А может, она там, но ее не найти. Прости. Я пойду обратно. Спасибо, что пришел. Прощай, Уинки...

"Вперед, вперед, вперед. Разорвать эту цепь. Мертвую, мертвую цепь. Дэви, вернись! Я разорву эту цепь, слышишь?! Дэви, разорву, разорву. Мертвую, мертвую, мертвую..."

Глава шестая

Когда он проснулся, солнце било ему прямо в глаза, и первое, что пришло ему в голову, было: "я разорву эту цепь!" он пососал эту фразу, повертел ее на кончике языка и, поняв, как много он хочет сделать приободрился. Не все еще потеряно, напротив - все еще впереди. Он бодро вскочил, потянулся и обозрел окружающее. Эта часть леса была ему незнакома. Вперемешку с огромными раскидистыми деревьями из земли вырастали металлические конструкции, которые, видимо, являлись плодом творчества садовника-металлурга. А прямо перед ним торчала изо мха изумрудная рука, показывающая кукиш небесам.

-- Вам не румпельно, мистер Мирпенраскель? спросил сзади женский голос.

Уинки обернулся и оказался с глазу на глаз с милостивой черноволосой особой в черной рясе, неотъемлемой частью которой являлся сердцевидный вырез на животе. Особа очаровательно улыбалась и без всякой связи с предыдущим сообщила, что ее имя - Миранда. Польщенный этими знаками внимания, Уинк сорвал с головы свою верную шляпу и старательно обмахнул ею свои сапоги, а также все то, что находилось в радиусе двух метров вокруг, включая подол собеседницы.

-- К несчастью, я не имею чести быть господином Мирпенраскелем, - кончив подметать лес, сообщил Уинки. мое имя - Рип Ван Винкль.

-- Я счастлива, милорд Уинкль, - тихо сказала Миранда.

-- О, что вы, сударыня!

И только было шляпа Уинки приготовилась вновь слететь с насиженного места, как Миранда вдруг вскинула голову и закричала. Уинки обернулся. На поляну выбежал человек, затравленно посмотрел вглубь леса, простонал и кинулся в сторону. Бегущий за ним высокий юноша повторил было его движения, но

споткнулся об одну из металлических конструкций и, взмахнув руками, упал на мох. А сзади происходило что-то непонятное. Деревья изгибались и корежились, словно плясали в горячем воздухе. Появлялись и растворялись между ними ослепительные розовые столбы. Раздавалось мощное гудение и жужжание. Где-то в глубине этого надвигающегося феномена вспыхивало изображение безумно-голубой руки. Резко и часто рука медленно сжималась. Не успев толком сообразить, Уинки одновременно услышал судорожный всхлип миранды, жужжание и крик упавшего:

-- Мы пропали!

Ноги сами бросили его вперед, и только после первого шага Уинки осознал, что происходило - все-таки полгода в Гершатцере не прошли даром. В мозгу, как отпечатанная, появилась первая строчка заклинания для груймлер-ббаша. Замерев в позе непреклонности, Уинки затянул монотонным речитативом древнекандхарские мантры, отгоняющие злых духов. Жужжание мгновенно усилилось, и между неподвижным Уинклем и столбами воздух покрылся сетью трещин. Со стороны могло показаться, что какой-то невидимый паук заткал пространство блестящей паутиной, в которой, как чудовищные мухи, бились материализованные слова. Изображение руки утонуло в черном облаке флаффы, чтобы появиться через миг уже во всех трех измерениях, направив угрожающие длинные пальцы на Уинкля. Столько ненависти было в каждом дюйме этого движения, что казалось невозможным устоять против такой все сметающей силы. Но Уинки уловил промелькнувшие в глубине ббаша цвета изумления, вопроса и испуга и улыбнулся уголком рта. Этот груймлер был еще слишком молод, чтобы устоять против шестисильных мантр мудрецов за. И в ответ он выстроил рядом с собой еще пять треугольников в форме торжества. Столбы загорелись

еще ярче, и трава между Уинком и центром ббаша начала медленно расползаться в стороны, не устояв перед потоком энергии. Однако не успели еще треугольники победы растаять в воздухе, как что-то щелкнуло в глубине леса, и, раздвигая кустарник, на Уинка начала надвигаться серая стена трипплеров - людей без лица. Он выждал, когда они приблизятся достаточно близко, и растворил их движением руки. Кинув взгляд на синие пальцы ббаша, он неожиданно увидел их: новая волна трипплеров шла, сметая все на своем пути, а за их серыми бритыми головами полыхало лиловое свечение - груймлер готовил новое подкрепление. Тогда Уинки похолодел заклинаний против трипплеров не существовало. Эти речные призраки никогда никому не мешали, а только жили своей сырой непонятной жизнью. Гладь реки надежно скрывала их от всяческих конфликтов. Справиться с ними можно было только растворяя каждую их волну, но энергии уничтожения у Уинкля почти не было. Пора было готовиться к почетной кончине. Именно в этот момент, не предусмотренный рукописями за и древними манускриптами, ему в голову явилась идея. Он, не глядя, закинул руку за голову и сорвал яблоко с мысленного сверхдерева, подкинул его в руке и вложил в сердцевину радость, а снаружи окружил плоть яблока ореолом веселья. Потом откусил кусок ароматного хрустящего плода, зажег его улыбкой и кинул в сердце ббаша. Что-то захрипело там, трипплеры растаяли в воздухе, оставив после себя слабый аромат тины, а столбы вспыхнули и исчезли. Уинки опустил на колени и пробормотал себе благодарственный тхал. Хоть ему было и не впервой расправляться со злыми духами, все же это занятие было достаточно изнурительным. Один раз на вершине зеркального холма он на протяжении трех суток пытался усыпить каролину свяао, дерево-вампира, которое об'явило



войну до последней капли крови маленькому племени поклонников великой ломовой железной дороги. "усыпить-то я его усыпил, но как я тогда проголодался", подумал он вслух, но сообразив, что думать вслух не к лицу молодому бродячему заклинателю злых духов, улыбнулся и легко поднялся с колен, опять готовый отразить любое нападение темных сил.

Прошло некоторое время. Миранда, Уинки и спасенные им Кло с Ивааном удалялись от металлической поляны, мирно беседуя. Иваан и кло оказались, как и Уинки, пришельцами в этом лесу. Заговорив о большом мире, они сразу отыскали общих знакомых и теперь дружно выясняли, когда, где и как они видели их в последний раз. Миранда же с естественным любопытством человека, никогда не заходившего далее, чем на пять миль от реки Оккервиль, слушала их разговор. Внезапно из близ стоящего дерева высунулась старушечья рука в черном рукаве и что было сил позвонила в обшарпанный колокол, который она (рука то бишь) удерживала на весу с видимым усилием. Покончив с этой трудоемкой процедурой, рука незамедлительно убралась обратно, а Миранда ойкнула и с извиняющимся видом остановилась.

-- Я прошу прощения, о милостивые государи, но меня призывают проследовать к трансцедентальной молитве, огорченно произнесла она и начала медленно таять в воздухе. Потом, словно бы спохватившись, она грациозно осела в реверанс, улыбнувшись Уинку, и написала что-то пальцем в воздухе. Лишь когда ее тень окончательно улетучилась, Уинки слегка опомнился и поспешно проявил написанное:

"Милорд Уинкль! Если ваша честь возымет желание еще раз увидеть меня, то я сочту за счастье быть сегодня после вечерней медитации у старого колодца на погосте тарталак. Искренне ваша Миранда".

Он задумчиво развеял душистые буквы по ветру и улыбнулся про себя, и когда Кло с Ивааном позвали его идти дальше, он услышал их далеко не с первого раза.

Брошюрка, с риском для жизни унесенная Ивааном и Кло Плавоким из библиотеки волшебника ф.

Для внутреннего пользования.

На руки не выдавать.

С к а з к а о м а л е н ь к о м к в а к е

и ж е с т о к о м в л а с т и т е л е

обрывок бумаги

приходит каждый день,

уходит же не каждый.

И наша тень, окрашенная жаждой

так жить, чтоб не догнать теням,

кидает звезды в ноги к нам.

Жил-был маленький квак, и было у него два брата, разорванный зонтик и старенькая оклемальница с тремя подержанными алмазными звездами, завещанная ему джорджем, одиноким мажордомом восьмиречья. Жил он, не тужил, а между тем любезный револьвер, красноглазый властитель долины черного кофия, проснулся однажды утром и ощутил в груди некоторое стеснение. "что бы это значило?" спросил он сам у себя, но ответа не получил. Тогда он позвал лекаря 333, известного своим умением излечивать всякие недуги, с первого по четыреста восемьдесят восьмой. Лекарь 333 обстукал властителя с ног до головы, почесал свои затылки и обстукал его еще раз с головы до ног. Потом он раскрыл окошко во лбу любезного револьвера и вынул оттуда пару мыслей, попробовал на зуб, запихнул обратно и печально промолвил:

-- О властитель! Посетил тебя тяжкий недуг, и современная медицина бессильна тебе помочь, если даже ты призовешь на помощь роту электрических микроскопов.

Вз'ярился любезный револьвер и заорал во всю мощь своей палисандровой глотки:

-- Ты думаешь, что говоришь, несчастный трюхальник? Лечи меня тотчас же, а иначе не миновать тебе компенсации на моем личном компенсаторе!

Любой бы задрожал при мысли о такой страшной казни, но не таков был смелый 333. Он спокойно отвечал:

-- О властитель, тебе ведомо, что я лечу недуги лишь с первого по четыреста восемьдесят восьмой, а твой недуг носит номер, который лишь на позитронной машине подсчитать можно. Поэтому я не могу тебе помочь.

Тогда любезный револьвер, видя, что угрозы не помогут, вкрадчиво спросил:

-- Что же мне делать, о великий лекарь?

Вспомнил тут лекарь 333 клятву гиппократата, обязывающую помогать всякому хворому да недужному, смягчился и сказал:

-- Может тебе помочь лишь оклемальница с тремя алмазными звездами. Достань ее и с'ешь. Да только не попади зубами на алмаз, не то сломаешь зубы, и придет тебе конец.

Обрадовался жестокий револьвер этому рецепту и приказал своему верному слуге Черногору сковать лекаря магнитным полем и бросить в подземелье, где вот уже две тысячи лет томился благородный диффузор 2а9. История его была проста. Услышал он от заезжего торговца воздухом, что любезный револьвер чинит своим подданным всякие несправедливости, и пошел на него войной. Револьвер же был весьма коварен и подкупил слугу диффузора с тем, чтобы он принес своему господину после трапезы обычную беломорину, только набитую не как обычно, азиатской дурью, а редкостным в тех краях табаком. Подлый слуга так и сделал, после чего благородный диффузор впал в

забыть, очнувшись только в подземелье любезного револьвера.

Исполнил Черногор приказание - сковал лекаря на славу и пустился на поиски оклемальницы. А любезный револьвер снова лег в свою полудинамическую кровать и стал громко стонать и жалиться на свою участь.

А Черногор тем временем шел и шел вперед, размышляя, где ему найти оклемальницу. Шел он, шел, и пришел в Сайгон. Недолго думая, взял он себе маленькую тройную и стал ее пить-попивать, все еще размышляя. Тем временем подскочил к нему пятиногий уродец, известный всем честным людям под именем обширявца, и начал предлагать Черногору что-нибудь купить у него, начиная с поношенного крейсера среднего водоизмещения и кончая томиком Мандельштама. Тогда Черногора осенило. Он сунул обширявцу фальшивую сату и прошептал:

-- Чувак, где бы мне найти оклемальницу с тремя алмазными звездами?

Пятиног быстро достал свою трехтомную записную книжку и меньше чем через полчаса дал Черногору телефон мистера Ы, который был горазд на такого рода дела. Действительно, встретившись с тем через час на восьмом километре галереи, Черногор в обмен на цистерну суперрайфла получил оклемальницу и радостно пустился в обратный путь.

Вернемся к маленькому кваку. Придя домой после сейшна в деревяшке имени промокашки, он захотел было потешить душу оклемальницей. Протянув руку под кровать, он не обнаружил ее там и сильно пал духом. Раскинув мозгами по своей квартире, он быстро понял, что его кинули. Тогда он прибег к крайнему, но сильнодействующему средству - вызвал из баночки с красной этикеткой могучего духа, своего старого знакомого. Дух присел на носовой платок и, подумав

минутку, сообщил маленькому кваку о коварном плане любезного револьвера.

-- Йамалаут! - закричал маленький квак. Недолго думая, он схватил мотор и двинулся в погоню за Черногором.

А тот не терял времени даром. Когда маленький квак только-только еще расплачивался с повелителем мотора, Черногор уже протягивал любезному револьверу пакет с оклемальницей.

-- У-ху-ху! - прокричал любезный револьвер, открыв пасть, усеянную фирменными зубами.

Маленький квак быстро вскарабкался на окно спальни и, увидев это, понял, что действовать надо решительно. Он выхватил из кармана вокс, расставил колонки на широком подоконнике и запел:

-- Ин-а-ггаду да-виду...

-- Караул! - прохрипел тут любезный револьвер. Земляне!

Он посинел, сунул в рот оклемальницу, да от спешки промахнулся и ударился зубами об алмазную звезду, да не об одну, а обо все три разом. Сломались его зубы. Провыл любезный револьвер четырехэтажное ругательство на забытом ныне квазимате и кончился.

А маленький квак освободил лекаря 333 и благородного диффузора 2а9 из подземелья, а Черногора убедил в нецелесообразности аморальной и дурной жизни, после чего взял его к себе в компаньоны. Продали они замок любезного револьвера, купили на вырученные деньги стереомашину и целую телегу неигранных дисков и стали жить-поживать.

Тут и сказке конец, а кто под нее обсадился - тот молодец.

глава седьмая

Последний раз промахав руками что-то нечленораздельно-дружеское, Иваан и Кло скрылись за отливающими сталью деревьями. Тогда Уинки понял,

что пришла пора поразмышлять над услышанным. Завидев неподалеку пенек, явно обещающий желающему присесть путнику все блаженства покоя, он устремил к нему свои шаги. Но только было он сел, как услышал торжествующий голос:

- Брат Уинкль! Царственный пень приветствует тебя!

С этими словами пень увеличился в несколько раз и степенно качнул сучками. Уинки, как мог, постарался скрыть смущение и сделать вид, что хотел всего-навсего поздороваться, хотя он прекрасно знал, что здороваться задней частью тела могут только самые невежественные племена архипелага раскрашенной свиньи. Но пень то ли по близорукости, то ли просто из вежливости не отреагировал на непростительную погрешность Уинка, и, обменявшись благодарственными мантрами, они радушно расстались. Отойдя от царственного собрата, Уинки, не желая больше никого встречать, принял облик тени и уселся под раскидистым ярким цветком. Достав из своей неистощимой сумы сигарету, он закурил и призадумался. "Так что же они говорили? От четырехмерной мельницы по висящей тропинке дойти до дерева старухи брюкель, пройти каньон дураков и по горбатой просеке дойти до сухого ручья, по нему до моста, еще два шага по мосту, и попадешь в библиотеку". Вот и все. Уинки считал, что пояснения Иваана были конкретны и понятны. Непонятным было другое: на кой черт он, Уинкль, собирается в библиотеку, откуда Иваан и Кло чудом вернулись живыми. Но Уинки не хотел бы этого знать. Достаточно того, что есть такое место, где есть много интересного. Господи, что только не говорил Кло о тех минутах, которые они там провели! Уинки может туда попасть, и потом, он просто не любил, когда ни в чем не повинным людям причиняли зло, и всегда сам пытался

разобраться, кто прав, а кто виноват. И полный детской веры в свое могущество, он посмотрел, прищурившись на небо. До вечера еще далеко. Любезно поклонившись погруженному в медитацию царственному пню, он зашагал по высокой траве в сторону леса. До четырехмерной мельницы он добрался без всяких осложнений, если не считать короткой беседы с одним вкопанным по пояс в землю добродушным старичком, который доказывал кому-то, что он - единственный прямой родственник маяка стрюкенбаха, и подозвал Уинки, чтобы тот засвидетельствовал этот факт. Уинки сослался на незнание генеалогического древа местных геодезических знаков, но факт родства подтвердил, ибо безоговорочно поверил в родовитость и искренность старца. Продолжив путь, он через пять минут очутился перед тяжелыми воротами с внушительной надписью:

Четырех мерная имени Шанку за Грасса це мельница.

Размалывание ежечасно.

Больные мозги просьба не доставлять.

Он отворил маленькую красную дверцу. Огромное и теплое нутро здания было занято какими-то толстенными канатами, которые равномерно вращались во все стороны, производя при этом оглушающее скрипение. Чугунные ступицы поднимались и опускались, что-то надрывно гудело. Время от времени из отверстия в темном промасленном ящике высывалась тускло блестящая шестипалая лапа и начинала ожесточенно скрести землю. Уинки, хлопнув, закрыл за собой дверцу. Медленно возле уха просвистел маятник на цепочке. Чей-то озабоченный голос пробормотал:

-- Ну и ну! Недоста-а-ачка получается!...

Уинки обернулся, но никого, кроме испачканной мелом стены, не увидел. Стена, впрочем, тоже имела озабоченный вид. Сделав робкий шаг в сторону, он

почувствовал, что поднимается вверх. Затем последовал ощутимый толчок, и после непродолжительного падения он очнулся на ярко освещенной куче песка. "Ох, не размололи бы меня здесь", - сказал он себе. На песке ему, видимо, ничего не угрожало, и, решив осмотреться, Уинки приподнялся. Только было он это сделал, как сзади раздался прехорошенький девичий голосок, произносящий, однако, не то, что мужчины обычно предполагают услышать из женских уст. Тирада была достойна самого пьяного из всех пьяных сапожников, когда-либо пользовавшихся нецензурными словами... Остолбенев, Уинки дослушал до конца этот памятник устной речи, а когда он обернулся, чтобы узреть автора, то остолбенел еще больше, ибо автора не было - голос доносился из совершеннейшей пустоты.

-- Я прошу прощения, сударыня, но... - растерянно промолвил он, хлопая глазами в пустоту.

-- Нет, он еще извиняется! Как вам это нравится, Настурция?

-- Знаете, отведем-ка его к сэру Джорджу, пусть он с ним разберется, - решительно ответил голос.

Две невидимые руки схватили Уинки, все завертелось перед его глазами, и только когда он почувствовал в руках подлокотники кресла, вызывающие чувство уверенности и покоя, он перевел дух и решил осмотреться.

Перед ним возвышался мореного дуба письменный стол, титанические размеры которого неизбежно приводили к мысли о бренности всего сущего. Казалось, пройдут тысячелетия, унесет ветром людей из леса, покроются пылью руины четырехмерной мельницы, а этот стол, подобно баальбекской террасе, будет возвышаться непоколебимо, отражая свет звезд мореностью своих досок, и посланцы иного разума будут складывать оды в его честь, умиляясь



могуществу человеческого разума. А за этим фундаментальным сооружением восседал одетый в дорогое сукно, в белоснежную сорочку, в респектабельность строгого галстука и тяжелые профессорские очки образчик той породы, которую зоологи именуют "ishak", а остальные люди

- Просто "ослами".

Осел поднял голову, и Уинки изобразил на лице что-то вроде:

--

Ах как приятно будет побеседовать проститенерасслышал вашего имени...

Но его облеченный властью оппонент, видимо, не был расположен поддерживать учтивую светскую беседу. Поймав Уинки в прицел мощных очков, он некоторое время подержал его там, затем тряхнул головой и тоном общественного обвинителя заявил:

-- Вы - осел, сударь!

-- Простите, что? - только и смог сказать Уинки.

-- Я говорю, вы - осел!

-- Кто осел?

-- Кто, кто... Вы, конечно! Ведь не я же! убежденно сказал осел.

-- Простите, а вы твердо уверены, что именно я являюсь, так сказать, ослом?

-- А кем же вы еще можете быть? - саркастически спросил осел, давая своим тоном понять, что вот тут-то и конец Уинковым уверткам.

-- А что, стало быть, бывают ослы, и никого больше? - решил уточнить ситуацию Уинки.

Осел, видимо, понял, что без раз'яснений тут не обойтись и, нахмурившись, неопределенно протянул:

-- Ну, еще бывают эти...

Из наполненной шорохами тьмы за спинками ослова кресла пахло доисторическим хлевом, и показалась запыленная голова птеродактиля. Она скептически

посмотрела на Уинка через стол, затем прикрыла глаза и вроде бы задремала.

-- Вот-вот, - сказал осел. - пте-ро-дак-ти-ли.

Дальнейшая беседа протекала в том же духе. Как выяснилось, животный мир в представлении осла состоял из ослов и птеродактилей, которые являют из себя лишь ослов с крыльями. В этом месте голова птеродактиля с видимым интересом прислушалась и даже открыла пасть для лучшей слышимости. Но, услышав, что ослам, равно как и ослам с крыльями, место на ферме, она щелкнула пастью и свирепо уставилась на Уинки. Скоро, впрочем, ей это надоело, и она опять задремала, посвистывая в такт речам осла, а тот разошелся не на шутку, доказывая необходимость немедленной тотальной фермеризации и призывая клеймить неагитирующихся ослов всеобщим презрением и лишением воздушных карточек. Непривычные к подобным словесным шквалам уши Уинки начали отекать. Наконец, после одного особенно цветистого оборота речи он понял, что если осла не остановить немедленно, то придется прибегать к деформации пространственного континуума, чего Уинки делать не любил из-за громоздкости формул и неприятных ощущений, сопутствующих прорыву в дыру времени. Терять было нечего.

-- Простите, а сами-то вы кто будете? - спросил Уинк по возможности более невинно.

Птеродактиль икнул. Осел же хотел, как бы не заметив помехи, продолжить свою пламенную речь, но что-то не позволило ему это сделать. Он вздохнул, укоризненно посмотрел на Уинки и попытался вновь встать на укатанную ораторскую колею.

-- Ибо... - сказал он и запнулся, а сказанное слово повисло в воздухе с угрозой, с каждой секундой молчания становясь все более двусмысленным. Тогда

осел, бросив озадаченный взгляд вокруг, сказал в пространство:

-- Вы что-то сказали?

Уинки посмотрел на птеродактиля. Тот лишь тоскливо отвел глаза и, выдержав некоторую борьбу с собой и проиграв, спрятался за кресло. Тогда Уинки повторил вопрос. Осел не стал кричать. Напротив, он помолчал немного и, отворотившись в сторону, спросил:

-- Ксантиппа!

-- Да, сэр Джордж.

-- Кто это?

-- Сейчас узнаю, сэр Джордж.

И ангельский голосок, только что почтительно и мило разговаривавший с ослом, отрубил, громыхая фельдфебельскими обертонами:

-- А вы кто будете, милостидарь?

-- да так, прохожий я, - ответил Уинк, пожалев, что не воспользовался деформацией пространства.

-- Говорит, что прохожий, - сказал голос, обращавшийся, судя по тону, к ослу.

-- А бумаги у него где? - почти прошептал тот, по-прежнему глядя в сторону.

-- У кого твои бумаги? - перевел Уинку голос, грубея на глазах, вернее на ушах.

-- Какие? - в совершенной своей невинности спросил Уинк.

Голос испустил замысловатое, но не теряющее от этого

в своей забористости ругательство и, совсем уже заматерев

тональностью, пояснил:

-- Где твое разрешение на прибывание на территории

данного учреждения?

-- Какого? - одинокий сей вопрос прозвучал как глас

вопиющего в пустыне. Стройный хор ответил ему, лязгнув луженым металлом неисчислимых глоток:

-- Четырехмерной имени Шанку за Гросса це мельнице по переработке и ремонту мозгов!

-- Нет, - искренне ответил Уинки, - я просто вошел в дверь.

-- Как? - сказал осел. - как? Как?! (с каждым "как" его голос обретал былую мощь). Значит, я трачу на него общественно-полезное время, а у него нет даже разрешения на пребывание! Убрать!

Уинки опять схватили под мышки, и через несколько секунд он уже восседал на траве около ворот. Жизнь леса текла своим неизменным чередом. Пели птицы, зеленели деревья. Только из притворенных ворот доносился рев с новой силой разбушевавшегося осла:

-- Он вошел через дверь! Через дверь, говорю я вам! Что? Измена! Хамство! Расстрелять!

Чьи-то руки сорвали с петель маленькую дверцу и принялись замуровать образовавшуюся дыру не первой свежести кирпичами. Через пять минут все было кончено. Из-за стены донеслись выстрелы, и пробитая пулями красная дверца упала на землю.

-- Что ж, до свидания, четырехмерная мельница, сказал Уинки и пошел дальше. И вышел он на висящую тропинку. И была это обычная пыльная тропинка, обросшая придорожной крапивой и лопухами. Единственное, что отличало ее от всех ее сестер - то, что она как ни в чем ни бывало висела в воздухе метрах этак в двух над землей. Уинки ступил на нее, она легонько качнулась, и из-за ближайшего дерева выступил человек. Было ему лет тридцать. Худой, невысокий блондин, затянутый в зеленый комбинезон, заляпанный белой краской. Из-под высокого сморщенного лба на Уинки косили неглубоко-прозрачные глуповатые глаза, и редкая щеточка усов приподнималась над тусклой улыбкой, словно бы

улыбался он нехотя, по долгу службы. Его подчеркнутую безусловную реальность портила только его прозрачность.

-- Ну что, Уинк, присядь, потолкуем, - сказал он неожиданно высоким голосом и присел на тропинку, свесив ноги вниз. - меня зовут стах.

Глава восьмая

-- Кому ты нужен здесь? Кому из всех тех прекрасных людей, которые живут в этом прекрасном лесу? Попробуй-ка ответить. Ах да, ты говоришь, нужен? Ты вспоминаешь их лица, слышишь их слова, чувствуешь их взгляды? А если заглянуть глубже? Ты еще помнишь своего любимого Дэвида? Отлично! Ты хочешь сказать, что нужен ему? Ошибаешься. За пригоршню консервированных снов он отдаст и тебя, и еще десяток своих родных и близких. А чего же ты хочешь? Отнять у него право видеть сны? А что ты дашь ему взамен? Сомнительное удовольствие вечных скитаний? В том-то и дело, что тебе нечего предложить ему. Свою дорогу он выбрал сам, и еще неизвестно, так ли она пагубна, как полагают. Сейчас же его жизнь наполнена до краев. Представь себе мир, в котором нет плохих и хороших, мир без волнений, где есть только яркие, сверкающие ослепительные краски, заполняющие все вокруг. Они смеются, танцуют. Они живые. И ты среди них - столь же прекрасный. Разве это не мечта человека? А что ты хочешь предложить ему взамен? Возможность переживать свои животные инстинкты, возвышенно их переименовав? Млеть при виде раскрашенной самки, не уступающей своим подругам в похотливости и вероломстве? Поставить на нее, как на карту, свою жизнь и, естественно, проиграть? Он уже имел счастье сыграть в эту игру - ты видишь, чем это кончилось. Или ты считаешь, что следует тратить силы, пачкая бумагу никому не нужными виршами в надежде на то, что сумеешь

сказать что-либо, не сказанное за несколько веков до этого похаживающим на тебя идиотом? Ошибаешься, милый друг, все уже сказано. Ты же знаешь теорию вероятности, так подсчитай сам. Впрочем, ты знаешь это и без меня, просто боишься себе в этом признаться. Надо же, Уинкль! Чем еще хорош этот твой мир, который ты так отстаиваешь? Он прекрасен? Да! Но ведь люди устроены так, что они просто не могут этого заметить: поглазев на прекрасное от силы пяток минут, они тут же бегут дальше, удовлетворяя свои физиологические и прочие потребности. И эти существа еще мечтают о свободе! Да при малейшем проблеске свободы они забиваются по своим норам и щелям и протягивают первому попавшемуся руки, чтобы тот соизволил надеть на них наручники лжи, логики или чего угодно другого...

На каком-то этапе этого монолога Уинки отключился и задумался: "везет мне на речи! Сначала Снупи, потом осел, теперь еще вот этот..." даже в мыслях он не стал искать название существам вроде стаха, ибо в самой своей природе был брезгливым и не любил падали. Он даже пожалел о том, что был чересчур воспитан, чтобы плюнуть в полупрозрачный контур собеседника. Стах, по-видимому, не в первый раз вел подобную беседу, поэтому быстро понял, что говорит впустую.

-- Ну ладно, Уинкль, я понимаю, что убедить тебя не смогу. Моя прямолинейная логика слишком резка для твоих рафинированных мозгов. Но смотри, что говорит твой друг, такой же идеалист, как ты.

Покопавшись в портфеле, он вынул конверт и, старательно не показывая Уинки адреса, дал ему сложенный вчетверо лист.

С первого взгляда Уинки узнал почерк Дэвида. И не сонные, заплетающиеся буквы смотрели на него, но прямые и гордые, словно бы писанные кровью:

"Да, Уинки, да. И что бы не стали говорить тебе, верь до последнего дыхания - нет ничего выше любви. Любви, воплощенной в стихах. Любви, воплощенной в музыке. И выше всего - любви, воплощенной в женщине. Она может быть несчастной, эта любовь. Приносящей муку и смерть. Но только в любви человеческое существо становится человеком. Человек, еще не любивший - это только глина, еще не тронутая рукой бога, еще без любви, без жизни. Полюби - и увидишь сущее без масок, без обмана. Увидишь слякоть и небо, и в единении их - жизнь. И что бы тебе не говорили - люби женщину. Люби ее, как любишь дорогу в небо, ибо она есть твоя дорога и твое небо. Если тебя предаст друг - суди его, как умеешь, но что бы ни сделала с тобой женщина - люби ее. Каждый из нас рожден женщиной, и за этот долг нам не расплатиться самой жизнью. За каждую боль, что принесла нам женщина, отвечаем мы. Ибо мы, мужчины, сделали этот мир таким. Ведь все, что мы делаем, мы делаем для себя, во имя себя. Все, что делает женщина, она делает во имя любви к нам. И пусть она убьет тебя и бросит на твое тело белую розу, как знак смерти окрась эту розу своей кровью, протяни ее, алую, ей, и пусть твоими последними словами будут "люблю тебя!" чем бы не стала женщина - запомни, такой сделали ее мы. И не более виновна она, нежели небо, ставшее черным от дыма и несущее смерть нам. Ибо женщина есть земля, которая кормит и растит все, посаженное нами. И не ее вина, если ядовитые цветы мы сажаем, повинуюсь желаниям своим. И что бы она ни сделала - благослови ее, ибо она есть сама жизнь, где нет добра и зла, а есть боль и счастье, сплетенные воедино нашими руками. Верь ей не больше, чем завтрашнему дню, но столь же преданно, ибо она есть твое вчера и завтра, и твое вечно единственное сегодня, твоя чистейшая мечта и твоя материальная реальность. Без женщины нет ни света, ни любви, ни

самого тебя, ибо она есть начало и конец мира, его земля и небо, вечный путь наш и грезящийся на горизонте оазис! Люби ее..."

Но и на этот раз опыт стаха подсказал ему, что-то что неладно. Он выхватил из рук Уинкля письмо.

-- Значит, вот вы как друг другу пишете, симпатическими чернилами, что ли? Я, значит, читаю одно, а там, значит, совсем другое? Ну ладно же!

Письмо вспыхнуло в его руках, и он, чертыхнувшись, уронил его на землю. В данный момент Стах представлял из себя вовсе непривлекательное зрелище, и Уинки поспешил отвести глаза. Неизвестно, как бы все пошло дальше, если бы не одно обстоятельство, помешавшее расвирепевшему Стаху разойтись окончательно.

-- Милейший Стах! Я вынужден просить вас не причинять вреда этому юноше, - почти ласково произнес появившийся между ними новый персонаж нашего романа.

Возник он совершенно неожиданно для автора, поэтому остается только описать его. Он закутан в длинный плащ, приоткрывающий странной формы звезду, горящую в белоснежных воротничках рубашки. Лицо его естественно-бледное, видимо, от рождения, это лишь подчеркивается черным крылом цилиндра. Он словно бы только что с бала, и, хотя безукоризненные перчатки и трость должны выглядеть неестественно среди мха и деревьев, невозможно представить себе фигуру, более гармонирующую с этим прекрасным и немного сказочным лесом.

Стах кисло взглянул на Уинки, словно бы призывая его послать пришельца подальше, потому что самому стаху делать это как-то не с руки. Но Уинки не отреагировал. Тогда Стах, проворчав что-то, неохотно просочился через тропинку, чем-то неуловимо



напоминая хорошо вымоченную курицу. А пришелец в черном плаще улыбнулся Уинку:

-- К моему великому сожалению, меня призывают дела, - промолвил он и растаял в воздухе.

Ах, этот странный человек с меняющимся, как в калейдоскопе, цветом глаз, появляющийся всегда вовремя и исчезающий прежде, чем будет названо имя его...

А Уинки, задумавшись, брел по тенистой, покачивающейся в воздухе тропинке. Опомнился он только тогда, когда земля расступилась под его ногами. Сопровождаемый хихиканьем стаха, он начал медленное падение в пенящуюся желтоватую воду реки оккервиль.

Клотация из донесения момбергева плиски, полуденного

стража кайфоломни

находясь на камушке, задремавши, открыл глаза и лицезрел при сем зрелище плывущего тела человека, каковое проплыло посередине течения у поднадзорной мне кайфоломни. Тело положением своим было премного изумлено, по их изрядном лицезрении судя. Для изучения сего явления я бросился в него камушком, но промахнувшись, оно поплыло к заливу, быстринной речной увлекаемое. О чем и докладываю вашему кайфоломству.

Глава девятая

К исходу четвертого дня путешествия Уинки замедлил шаг и спросил у короля абиссинских морей:

-- Далеко до земного колодца?

Реакции на это не последовало. Они продолжали столь же монотонно идти вперед по скрипящему фиолетовому песку. Впереди навязчиво маячил фонтан латостроф, где-то гораздо дальше угадывались контуры башен гнилой деревни, а справа в трех часах ходьбы возвышались вершины черного леса. Уинки

даже различал поблескивающие на солнце таблички с крестов погоста тарталак. Однако его туманный в полном смысле слова, ибо голова и плечи его были окутаны самым настоящим серым городским туманом, проводник, повинувшись одному ему ведомым приметам, вел его через пустыню и не сворачивал с таинственного маршрута, а Уинки совсем не имел желаний идти через пустыню в одиночку, твердо памятуя о наставлении маяка стрюкенбаха.

... Он с удовольствием смотрел на серые замшелые плиты, нагретые солнцем, шелест зеленых волн, разбивающихся о песок, и надтреснутый голос маяка, повествующий о странных свойствах пустыни, простирающейся между ними и, казалось бы, не таким далеким лесом...

От этих столь приятных размышлений его отвлек шепот, ясно раздающийся где-то между ребрами затуманенного короля:

-- Да нет, Уинки. Нам осталось прошеествовать лишь до фонтана, а оттуда путь свободен, так как подле него пустыня кончается.

Трудно описать, как это сообщение обрадовало Уинки. Дело тут не только в том, что однообразные странствия по жаркой фиолетовой пустыне способны были утомить и более спокойного человека, нежели наш герой. Разгадка крылась в самой пустыне. Вот почему близкий конец пути так обрадовал его и лишний раз подтвердил прозорливость маяка стрюкенбаха, порекомендовавшего ему сметливого проводника. Дело в том, что пустыня трех ф испокон веков обладала таинственными и загадочными свойствами, которые превращали ее из обычной второразрядной пустыни в место, в высшей степени примечательное. Путешественник, переступающий ее границу, находится обычно в полной уверенности, что пересечь ее не составит никакого труда, если действовать

вполне аналогично тому, что в обиходе называется "разплюнуть". К исходу первого года пути он обычно расставался с этим заблуждением. Спасти его могло только чудо, явившееся в образе проводника, который одному ему известным путем совершал переход пустыни, такой маленькой, на первый взгляд. Если этого не случается, то путешественник обречен, ибо в пустыне трех ф можно было идти всю жизнь, не дойдя однако, до ее края. Здесь случаются разнообразные умопомрачительные штучки с пространством и временем - раздвоение личности, временные петли здесь - обычное дело, а уж на пространственные деформации и свертки горизонта никто внимания не обращает.

На знаменитого первопроходца и географа Альбаалоха здесь напали жидкие леопарды, заставив маститого исследователя с'есть три тома своих путевых заметок, что побудило его впоследствии отказаться полностью от писательской карьеры, и до конца жизни он бледнел при виде чистого листа бумаги. Сюда на закате своей жизни удалился ученик Гратулирта Бренай Лопосвейский, решив оставшееся до смерти время посвятить размышлению о бренности всего сущего. Каково же было удивление его ученых коллег, когда по истечении весьма короткого времени они столкнулись с ним в самом дешевом кабаке села Труппендорф, причем великий ученый выглядел весьма помолодевшим, восседая без всякого зазрения совести с кружкой пенистого брау в одной руке и талией соблазнительной блондинки - в другой, причем блондинка хихикала так, словно ее щекотал целый полк профессиональных соблазнителей. Другой же ученик Гратулирта, Аснорабом зе-дэ Коротео, придя однажды в пустыню для экспериментов по получению живых карпов из хорошо просушенного песка, встретил там приблизительную свинью и после полуторачасовой

беседы с ней отрекся от своих научных взглядов и ушел вглубь пустыни с тем, чтобы основать там курсы по отвинчиванию гвоздей.

Где-то в этой богом забытой пустынной области скрывалась система трех ф, от которой пустыня получила свое имя. В свое время фракция черной пятки, возглавляемая бруклем сью б, отрядила экспедицию для отлова этой таинственной системы с тем, чтобы доказать, что таковой вообще не существует. Но, несмотря на предупреждения джунгля о смака, единственного в мире специалиста по системе трех ф, они, напав на следы системы, углубились в поиски настолько, что сгнули совершенно. Говорят, что летающие раки до сих пор доставляют в оккервильскую академию наук письма от этих искателей научной истины, да только они написаны на никому ныне неведомом древнеабруйском наречии и поэтому совершенно нечитабельны. Однажды к фонтану лотостроф выбежал оборванный человек по имени Аснот, который во всеуслышание прокричал, что нашел путь к дому волшебника ф, но после этого он кинулся головой в фонтан, что положило конец его откровениям, ибо в фонтане его немедленно поглотило пятое измерение. От него остался лишь грязный черный ботинок, который доселе стоит там, напоминая всем о странных свойствах пустыни трех ф.

Пока Уинки перебирал в уме все, что он знал об этой славной пустыне, сама она незаметно подошла к концу, так что когда он поднял голову, намереваясь всмотреться в даль, перед глазами его красовался фонтан лотостроф. Король абиссинских морей почтительно поклонился этому знаменитому памятнику эпохи два минус, затем повернулся к Уинки, поблагодарил его за приятное путешествие и, сославшись на неотложные дела, нырнул в фонтан.

Уинки уселся в тенечке и расслабился, вознося хвалу духу дорог.

Еще слава богу, что пустыня была верна своим идеалам в области относительности времени. Теперь Уинки находился на краю пустыни ровно за трое суток до того, как он упал в мутную воду реки Оккервиль. А это значит, что Миранда (он ни на секунду не забывал о своем обещании) придет на погост послезавтра вечером. Торопиться пока некуда, поэтому он медленно вытянул ноги, ощущая в каждом мускуле приятную пустоту: четверо суток пути - не сахар. Подставив под вылетевшую из сумки сигарету руку, небрежно закурил, сказавши только:

-- Лапонька, скажи лучше, который час?

того немудреного вопроса вполне хватило, и страшный мохнатый монстр, изготовившийся было к прыжку, ошеломленно фыркнул и отцепился от фонтанного барьера, тяжело рухнув на песок рядом с Уинком. Они помолчали. Затем монстр смущенно пробормотал:

-- Ну откуда мне было знать, что ты тоже из этих?

Помолчав еще, он вдруг зарделся так, что даже шерсть его приобрела розоватый оттенок, как-то очень неловко поднялся и сказал в сторону:

-- Ну, я пошел.

-- Пстой, старик, - подал реплику Уинкль почему-то голосом сугубо положительного кинематографического героя середины шестидесятых годов. Время от времени воспоминания пробуждались в нем, и он, испытывая некоторую неловкость, вдруг начинал очень положительно хрипеть, петь странные песни, в которых на протяжении двух-трех аккордов люди успевали залезать на горы, с них упасть или совершить какое-нибудь аналогичное по осмысленности действие, а в особо затруднительных случаях, хрипанув, как десять армстронгов, вместе взятых, он говорил: "не трухай,

старик, еще не вечер". Надо признаться, обычно на людей (или нелюдей) наивных и молодых это производило потрясающее впечатление. Но и на этом способности Уинка не кончались. Он еще много чего умел: устало и интеллигентно прикуривать, как молодой ученый, измерять человека взглядом (если нужно, показывая при этом всю глубину его морального падения), как юноша, обдумывающий житье, принимать настороженно-скучающий вид, сквозь который проглядывает готовность дать бой всему нехорошему, что только появится в пределах достижимости, как сотрудник ой-чего. Еще много всяких вещей умел Уинки, но поскольку общеизвестно, что современный кинематограф не в состоянии создать что-либо, похожее на произведение искусства, и вообще кино - явление упадническое, а единственный неплохой кадр, проецировавшийся на экран, входил в самую первую ленту братьев Люмьер, не считая тех двух кадров, которые были вырезаны сами знаете из какого фильма сами знаете когда, я боюсь, читатель, что тебе не понравился бы этот талант Уинки, но, рискуя не угодить, я все же сообщаю тебе о нем, все милостивейший читатель, ибо правда повествования для меня дороже твоего одобрения или неодобрения. Итак, Уинки переключился на тон сильного мужчины, и это совершенно покорило его неопытного и застенчивого собеседника. Оказалось, зовут его вепрь-девственник, что по натуре он гуманен и мягок, а нападать на прохожих ему приходится, чтобы закалить свой характер:

-- Понимаешь, Уинки, нельзя мне с таким характером, совсем он у меня не мужской - робок я больно, стесняюсь.

Уинки не стал настаивать на дальнейших раз'яснениях. Он знал и без того, что это лохматое чудовище с душой художника по уши влюблено в одну

ветреную молодую особу, живущую в скрытой абиссинии. Зовут эту красавицу рыба, растущая внутри себя. И неумелый в сердечных делах вепрь вот уже не один век добивается ее благосклонности. Но Уинки знал и кое-что другое и всячески постарался использовать это "кое-что" в воспитательных целях, так что, когда из фонтана высунулась клешня с письмом, вепрь уже знал, что закалять характер можно не только сваливаясь на головы уставшим путникам. Попутно он прослушал назидательную лекцию о том, как нужно себя вести. Клешня же проскрежетала:

-- Письмо для этого, ну, как его, вепря-издевательника!

Обезумевший от счастья вепрь схватил письмо со штампом скрыто-абиссинского оффиса. Воспитательная часть была на этом закончена, и Уинки, уставший до последнего предела, задремал.

#### Глава десятая

Сны снятся всем. Юному органисту с заплетенной в косички черной, как смоль, головой видится по ночам "хаммонд с3", на клавишах которого маленькие эмерсончики гоняются за маленькими куперенчиками. Тех и других подстерегает педаль, плотоядно щелкая переключателями. Одиноким бородатый инженер грезит о дрессированных штеккерах и (в снах возможно все) о неиспорченном аппарате. Еще в чьих-то розовых снах поп-фаны, постриженные под ноль, сидят на скамейках парков культуры и отдыха и, лузгая семечки, слушают песни народностей севера в исполнении клавдии шульженко. Даже старику ван оксенбашу однажды приснилось, что он проводит первую брачную ночь с трактором "кировец" к-700. Поэтому с нашей стороны не будет непозволительной вольностью заявить, что юношам, кончившим начальный курс чудес и прошедшим практику среди каменных столбов гершатцера и вуга, тоже могут сниться сны. Именно к

таким юношам и принадлежит наш герой. Мы покинули его в тот момент, когда он устало уронил голову на грудь и задремал, утомленный тяжелой дорогой. Последуем же за ним дальше в глубины подсознания с тем, чтобы как можно полнее уяснить, зачем мы описываем жизнь Уинкля вот уже на протяжении девяти глав нашего запутанного романа и намереваемся заниматься этим и дальше. И хоть говорят, что сны являются лишь искаженным отображением действительности, однако же весьма часто Уинковы сны имели местом действия какой-то странный холодный красивый город, который иногда становится невероятно похожим на первую любовь, и пусть нам не понять логику этих снов, пусть действия в них нам покажутся невразумительными, что ж, это только сны, кто знает, какая правда заключена в них...

#### Сон

Из-за левого плеча доносилось тиканье часов. Они были двухэтажными, с окном на каждом этаже. Циферблат второго этажа казался мертвым, никому не понятным символом, в то время как шевелящийся в первом этаже маятник и кусок зубчатого колеса жили сейчас, в настоящем мгновении, хотя и механической, но жизнью. Оглянуться на них было приятно. Чем-то напоминала эта картина море времени в одном очень красивом фильме. Фильм - это длинная целлулоидная лента, на каждом сантиметре которой нанесены картинки, а сбоку - черная кривая. Если прокрутить эту ленту через специальный аппарат, то картинки будут вполне членораздельно двигаться, а черная кривая превратится в слова и музыку. По идее, это должно производить на тех, кто смотрит и слушает, определенное впечатление.

Когда они вышли под холодный дождь (дождь был еще и со снегом), тартуское шоссе, вылезавшее из-за угла кинотеатра с отвечающим духу дня названием



"эхо", было мокро, слякотно, и трамваи проезжали с грязно-белым верхом.

Стало ясно, что музыка никогда не кончится. Это ничего, что библейски-чернобородый человек, всегда отстукивающий на чем попало биение музыки, горящей внутри него, человек, с которым мы начинали строить наш новый мир, шел другой дорогой. Мы переживем и то, что некому больше, не замечая окружающего, сидя на краешке тротуара, осиливать премудрости второго голоса в плохо отпечатанных нотах "битлз", некому больше схватываться в неравной битве с клавишами, даже спинами отсчитывая доли такта. Мы переживем - нас двое, нас может быть больше. Музыка никогда не кончится. Поэтому кто-то из нас встал на колени перед синим с разноцветными зигзагами поверху листом, прилепленным с другой стороны забрызганного стекла. Показалось, что там, в маленьком желтом силуэте подводной лодки, есть кто-то, кто помнит о нас и верит, что пламя никогда не погаснет.

Стол передо мной завален бумагами, а окно открыто настезь. Тремя этажами ниже под'ехал прямоугольненький автобус, при виде которого некому больше кричать, пугая случайных прохожих: "с шестого раза ведь не сядем!" некому так некому. Все равно за открытым окном - огромные зеленые деревья и голубоватое городское небо, и воздух на вкус все такой же - с майской чуть-чуть горчинкой, а бумаги и "беломора" хватит до конца дня. Часы на стенке за левым плечом остановились - меня больше ничего не связывает с мирным течением реки времени. Нас двое - я и вечный, как первая влюбленность камня, смольный собор справа за окном. В своем дне лихорадочного постукивания секунд я добиваюсь чего-то. Что это было, а?

Сон

Микрофон выглядит слишком неустойчиво. Он опять порадовался, что вовремя поставил на свою любимую гитару пьезокристал - теперь можно петь, не думая о том, что гитару не будет слышно. Струны вздрогнули под жадными пальцами. Было слышно, как из этого касания рождаются высокие чистые звуки. Они с гитарой понимали друг друга, как понимают любовники, прожившие вместе дожди и солнце.

"Ни одна женщина не умеет любить", - подумал он вскользь и обернулся к фортепиано. Снизу, из зала, не было слышно, что он сказал тому, кто, словно падший ангел, касаясь клавиш распушенными черными волосами, озабоченно возился с непослушной стойкой, но руки его даже во время разговора гладили струны короткими, едва уловимыми движениями. Потом левая рука приникла к грифу, а пальцы правой уверенно резанули по струнам, и, уже начав петь, он впервые посмотрел в зал поверх микрофона, как поверх прицела. Лиц он не видел. Как река, чувствовал течение своего голоса и прикосновения берегов. Песня представлялась ему в этот момент живым существом девушкой, идущей по напряженному канату, напряженная под холодным дыханием нацеленных на нее глаз, она защищена лишь сознанием своей беды. Голоса сплетались в какой-то неистовой пляске, руки, бьющие струны, словно очерчивали бьющееся тело, и кружева клавиш странным узором рисовали развевающиеся по ветру волосы на высоком голубом небе, как бледно-золотое знамя любви. Они летели над холодной пустыней зала как упоенный крик рук, обреченный на смерть завтрашним днем, прекрасный в своем последнем забытьи. "ты помнишь смятую лаской траву? Помнишь теплый, как парное молоко, асфальт под босыми ногами? Помнишь?" - так пел он, хотя слова пели о другом. Песня в ночном прощальном ветре...

"Я поднималась девушкой, идущей по пояс в лунной дороге. И смех просто так, и пульс финского залива под руками..."

Он пел. Последний всплеск гитары был как всплеск волны. И, защищенный от непонимания зала, так же как от их признания и мимолетной любви, он опять недоверчиво покачал ненадежную стойку и, сдвинув гитару на бок, нагнулся, поднимая похожий на камышину противовес. Только против одного он не был защищен - где в конце зала безошибочно выбранное освещение выхватывало, как алмаз из песка, черную тень с развившимися и сбившимися по плечам побледневшим золотом, которая, сладко опершись о стену, смеялась с кем-то, даже не глядя в их сторону. Гитара заворчала в его руках. Когда он опомнился и, улыбнувшись чересчур широко, сказал что-то пианисту, и они засмеялись, только пальцы его все гладили и гладили гриф, словно внезапно ослепли...

Глава одиннадцатая

А эта глава выйдет совсем короткой, потому, наверное, что много листов я исписал, пытаюсь рассказать, что случилось, когда Уинки проснулся. Ничего из этого не вышло. Встреча сразу двух хороших людей оказалась мне не под силу. Произошло, собственно, вот что.

Проснулся он и увидел, что толпа, заросшая мохом и подкосячной пылью, преследует сбежавших от нее вшей, потому что без вшей ей, толпе, как-то не по кайфу и жизнь не в жизнь. Тут появляется некий человек, ходж-подж его зовут, и раз'ясняет Уинку, что к чему. Это он ведет Уинки в некое место. Место называется аю. Там все работают, ибо любят делать свое дело, музыку, краски, всякую науку что кому угодно. Должно бы было еще следовать долгое и безумно занимательное описание Уинковых с ходжем-поджем странствий по лабиринтам аю, но это я тоже

опустил, ибо на бумаге все вышло скучнее, чем на самом деле.

Вообще то еще много чего должно было произойти встреча с мирандой, обернувшаяся самым неожиданным и приятным образом, и визит в замок роудер-па совокупно с историей графа диффузора, и еще кое-что. И само нравоучительно-героическое путешествие Уинки в хижину волшебника ф, где на самом деле ничего нет, кроме кучи грязного тряпья. Но это я лучше поведаю за чашкой хорошего чая, так что не будем забегать вперед. Значит, шли они, шли, а потом ходж открыл дверь.

#### Глава двенадцатая

Когда же он открыл дверь, отступить было поздно перед ним в путанице смешанного со снегом ветра открылась бесконечность. Площадь или поле, пустое и плоское до отсутствия горизонта. Только ночь и снег. В это время он шел один, сосредоточась на том, как удобнее открыть глаза от колючего снежного вихря, и голос, заговоривший справа от него, сначала не удивил.

-- Поэтому люди и становятся поэтами. Собственная жизнь вдруг оказывается мала - изо дня в день одни и те же стены, друзья, слова. Ничего не меняется, даже неожиданности приходится планировать самому. А ведь невыносимо скучно знать, что утром проснешься самим собой и ничего не сделать для того, чтобы к вечеру измениться. И ты начинаешь писать стихи, пытаешься сказать о мире в момент пробуждения, или когда вдруг сигарета пахнет как трава давно прожитым когда-то июньским утром, но это длится мгновение, много - два. Но слова не удерживают этого, и, умерев на единственном листе, теряют единственность произнесения. Единственное только здесь и только сейчас. Прожитое дважды - скучно. Следующая страсть - музыка. Там бессмысленно все окружающее, только поющие тобой строки естественны и искренни.

Испытываемое тем, кто поет, не имеет аналогов в реальности. Строишь из перебираемых тобой струн лестницу поднимаясь по которой, твоя душа обретает вдруг неповторимую возможность чувствовать, как не умеют люди, кристально правдивую и тем не менее протяженную во времени, как целовать только что выпавший снег.

Уинкль шел, забыв о снеге в лицо и боясь повернуть голову, чтобы не спугнуть эту снящуюся явь. Идущий справа говорил как бы самому себе, но этот слушающий он сам был Уинкль, и он слушал.

-- Но поется так раз, другой, третий. Потом ты узнаешь закон правильного пения этой песни и становишься богаче ровно на нее. Поешь следующую - эту ты уже прожил. И раз от раза становится все меньше того, что ты можешь петь. Начинаешь писать сам. Но пишешь... Вот уже утро, и бесполезно - тебе больше не хочется.

Уинкль очень-очень осторожно скосил глаза вправо. Человек шел вперед как бы поверх ветра. Он не обращал внимания на идущего рядом с ним, на снег, на реальность снежной пустыни, простирающейся вне всякого пространства и времени. Станный, высокий, худой, в длинном черном пальто, узком, как перчатка, в фантастических очертаний меховой шапке, очень, однако, удобной, для ношения в такую адскую погоду, и продолжал думать вслух:

-- Тогда становишься актером и живешь каждый раз чужой жизнью, которая всегда удивляет по-новому выражением глаз собеседника.

Тени за его плечом, непонятные интонации в давно знакомой фразе:

-- Тут ты понимаешь, чего не хватало пению неожиданности бытия, мельчайших пустячков, которые делают следующий миг неопределенным, возможность всякий раз собирать жизнь иначе - меняешь реальность

как господь бог, сотни раз возвращаешься в исходный момент, чтобы начать все с начала - а вдруг все изменится, и мы увидим, наконец, свет. Однако же все остается на своих местах. Пьесу не переделаешь, и финальная мизансцена одна и та же. Это страшно - сотни раз прожить, искренне веря, что изменишь мир силой своей веры, но придти к концу, вспомнив каким-то десятым чувством, что все это уже было, и все ты делал в никуда.

Человек помолчал несколько метров, и тоном ниже:

-- Хотя, если верить, что мир неизменяем, то может быть.

"А если нет?" - мысленно спросил Уинкль и мысленно прикусил язык.

-- Тогда опять начинаешь все сначала. Опять начинаешь писать. Но на этот раз сам мир и чудеса, которых не хватает, как родниковой воды, и этими чудесами наделять мир. Вместе со своим героем проживаешь все пути, которыми уже сам его ведешь, не имея понятия, чем они кончатся. И вволю веселишься, переиначивая все одной запятой. Как бог, создаешь мир, и как человек, обживаешь его. Открываешь все двери своего мозга, и сквозь ледяную корку логического мышления бьют ключи - истоки тех рек, по которым проплывет ладья повествования. Только одна беда - карандаш не успевает замечать всего - слишком часто и со всех сторон вспыхивают зарницы. Ты следишь за всем и опять-таки выбираешь один путь, и сколь прихотлив бы он ни был, всегда остается мысль о том, что встретило бы тебя на другой дороге.

Еще несколько десятков метров молчания.

-- Еще хочется иногда поговорить с тем, кого или ты сам написал, или с тем, кого написать никогда не сможешь, и увидеть то, о чем давно забыл. Так это просто. Да и в конце концов, просто послушать, как

джон с полем поют то, что они не успели спеть в этой реальности...

-- Прости, пожалуйста, - вдруг повернулся он к Уинклю. - у тебя не найдется лишней сигареты?

-- Только "беломор", - вдруг неизвестно почему сказал Уинкль и безумно испугался в следующий момент, поскольку не понял даже, что за слово такое произнес. Однако рука автоматически достала из кармашка сумки странный, отдаленно напоминающий сигарету цилиндрик с табаком. Полчаса назад там было пусто. Незнакомец обрадованно пробормотал:

-- Так это же прекрасно, ничего лучше и быть не могло, - и полез в карман за спичками, которых там не оказалось.

Еще несколько минут заняло прикуривание - спичку задувало почему-то в самый ответственный момент. Когда беломорина наконец задымилась, Уинклю показалось, что он знает человека в черном пальто уже много лет, и не одну тысячу раз они прикуривали от одной спички, охраняя огонь ладонями в самой середине метели. Теперь уже имея право на молчание, они побрели дальше.

-- А что же было дальше? - спросил Уинки, когда вопрос пророс в нем, созрел и был готов для произнесения.

-- А черт его знает, - как-то очень уютно и просто сказал незнакомец. - просто я как-то научился жить, меняя реальность мира, одновременно во многих мирах, большинство из которых даже невозможно себе представить. Так странно - переходя из одной жизни в другую, как переходят из комнаты в комнату. И всегда.

-- Ты вечен теперь? - не удержался Уинкль.

-- Нет, конечно, - засмеялся знакомый незнакомец. но всегда. Ты видишь, я же говорил, что этого не объяснить. Понимаешь, я всего-навсего не кончаюсь. Нет, слов для этого я еще не придумал, но ничего, я

как-нибудь постараюсь это написать специально для тебя. У нас ведь много чего впереди.

"А сейчас?" - успел подумать Уинки, но незнакомец опять его опередил:

-- А сейчас уже холодно, и потом, у меня появилась одна идея. По кайфу было бы сразу ее попробовать. Так, до скорого свидания, Уинки. Ты уже замерз, я знаю. Вон, видишь ту дверь? Там тебя напоят горячим чаем. Кстати, там прекрасный и очень вкусный чай. Ну, счастливо.

Уинки увидел, как из снежной каши выплыл круглый желтый бок чего-то, напоминающего то ли самолет, то ли... Название опять ускользнуло из памяти. Открылась желтая дверца. Человека в черном пальто втащили за руки внутрь, и перед тем, как дверца захлопнулась, кто-то, знакомый чуть ли не с рождения, усатый, в круглых металлических очках, помахал Уинку рукой.

Желтая машина плавно поднялась над землей и исчезла в снежно-ветряной каше. Уинкль проводил ее взглядом и поплелся к двери, которая одиноко возвышалась над гладкой, как стол, равниной, щедро засыпанной снегом одна дверь, и больше ничего. Уже приоткрыв ее, он вдруг понял, что, непонятно почему, отчего и как, но он счастлив.

-- Субмарина! - произнес он вслух вспомненное все-таки слово и засмеялся легко и чисто, и вошел в дверь, аккуратно затворив ее за собой, чтобы не нанести внутрь снега.